Владимир Лидский

Горький хлеб Вити-дурачка

Рассказ

...дайте хлеба, сказал Витя, принесли хлеба? два дня не ел... хлеба! — но первый, быстро приблизившись, ударил Витю кулаком и злобно ответил: вот тебе хлеб, сука! — Витя пошатнулся, и тут подошли второй с третьим, накинулись на него и двумя ударами сбили с ног; Витя упал, закрыв голову локтями, и мужики начали его топтать, — сапоги мелькали, и тупые носки их с силой крушили ребра Вити, ноги, руки, голову... песок скрипел на зубах Вити, и сквозь запах крови, креозота и кремния он явственно ощущал запах дегтя, сапожный запах, и дух потных мужиков, насквозь пропитанных станционной вонью... он кричал, его били... насильники устали, но все били и били в тесном тупике между поездами, а потом взяли полумертвого Витю за шиворот, подняли и швырнули на ступеньки вагона!.. Витя был лидский дурачок пятидесяти с лишком лет, худой, длинный, головастый, руки его доставали до колен, костистые такие руки, с цепкими пальцами, как у обезьян, нос Витя имел большой, горбатый, глаза — синие, без дна, а волосы на его странной голове росли кустами и походили на редкую растительность пустынной местности; родом он был поляк, явившийся на свет в Белостоке, в Лиду попал в двадцать первом, вскоре после советско-польской войны и заключения Рижского договора; отец Вити занимал должность в почтовом ведомстве Белостока, и когда Лида со всеми потрохами отошла к Польше, его направили начальником лидской почты, потому что не хотели белоруса на этом месте — так Витя девятнадцати лет и попал в Лиду, где прижился на попеченьи отца и жил хорошо, а отец, который был вдов, жил еще лучше, — к нему ходили почтарки и любили его за должность, но потом он женился и стал степенным таким и положительным семьянином, примером стал просто для лидчан, помешанных на институте брака, потому что Лида была местечком, где главными строениями считались Крестовоздвиженский костел на Виленской и синагога на Базарной площади... там, правда, был еще собор — православный, Свято-Михайловский, тоже, к слову, на Виленской, но его роль в этом деле была менее значимой, ибо иудеев в Лиде было несравнимо больше, а поляки после раздела Беларуси и вообще просто хлынули в Гродненский край, — вот, значит, отец Вити женился на Гражине, веселой шалаве, которая, не глядя на костел, мигом соблазнила Витю, а он, Витя, стало быть,

---

Владимир Лидский (*Михайлов Владимир Леонидович*) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 11.

свихнулся на любви к мачехе и всякий раз, удобный, неудобный, норовил затащить ее в постель, пока отец, разумеется, служил службу, — отец-то был в летах и не очень отчетливо служил, в отличие от почтов**о**й, мужскую службу, Витя же вырос хоть и дурачком, но — жеребцом, а жеребцу ума не надо; они играли в игры, и Витя всегда велся на ее запах, — она пахла как весенний луг, в котором играла едва различимая кислинка, то был запах чистой женской сути, и у Вити кружилась голова, если она стояла близко и он мог вдыхать аромат ее волос... он так любил ее волосы, так жаждал их! и она, зная это, нарочно дразнила пасынка — склонялась над ним, укрывала его лицо нежным платом, — он лежал, блаженно вдыхая запахи ромашки, душицы, одуванчика, и даже плакал от счастья, не веря, что оно — ему, а не кому-то иному, пусть даже и отцу, но отец как-то застал любовников и, само собой, постановил забрать собственность по праву, — он поднял жену с постели, отхлестал по щекам, а сына одел, взял за руку и отвел к моэлю, которого звали Амос-Хаим, однако моэль сказал: ты не иудей! отец возразил: черта ли мне в иудействе? не о крайней плоти пекусь, а об отсутствии дурного потомства; Амос-Хаим думал, не хотел уступать, у него был Закон, отец же снова просил, соблазняя дарами, но Закон для моэля важней даров, он и указал: ступай, мол, к ветеринару, у белорусов — иной закон, отец и повел Витю к Стаху Рымарю, — там Витю связали, уложили на стол, где холостили кабанчиков, и за полторы минуты Стах парня переделал; Витя — вследствие слабой головы — не помнил зла, не помнил Стаха, он помнил лишь боль, и спустя восемь лет, когда уж и отца не было в живых, приходил к Рымарю и жалобно канючил: дай хлеба, есть хлеб-то у тебя? ведь я голодный... а у тебя есть! но злобный Стах ярился и в кулаки гнал дурачка; в тридцать девятом поляков прижали, и Советы принялись чистить Лиду: хватали буржуев, сажали в городскую тюрьму, везли в Барановичи, в *Крывое кола,* или в Минск, в *Пищаловский замок*, вывозили военными эшелонами осадников, — взяли и Стаха, — разорив веткабинет, стащили коровьего доктора на двор, но он вопил на дворе: я работяга, пролетарий, я убогому, мол, хлеба давал! — спросили Витю, тот и подтвердил: давал! тем Стах и спасся... а зря Витя подтвердил — Стах его потом лично убивал, — это еще спустя три года, когда Витя угодил в гетто, ведь там были не только лидские и окрестные евреи, но и люди иных национальностей — больные, увечные, лишенные разума, — слабоумных нарочно искали, потому что неполноценным в рейхе места нет, рейх скоро будет царить везде, и рейх не может же кормить убогих, это экономически невыгодно, вот Витя ходил по гетто и приставал к евреям: дайте хлеба! есть хлеб у вас? я уже два месяца голодный... но евреи сами сидели на сырой воде, да и ее не хватало! нам бы манны, говорили евреи, уж мы бы наелись и тебя накормили! — так Витя и ходил по людям, раз даже подошел к немцу, канюча хлеба, и показал щепотью на свой иссохший рот, но офицер пистолетом двинул Витю в морду, закровянил оружие, достал платок и брезгливо вытер рукоять пистолета, — Витя выплюнул зубы, отхаркался и, плача, побрел прочь... он жил в гетто, как пес, — спал на улице, жрал помои и думал: это и есть жизнь, а смерти-то и нет, была бы — давно уж забрала бы к себе, но смерть — была, просто медлила, исполняя более срочную работу, — поживи, Витя, еще, чашу мучений своих испей до дна, вот тогда и поговорим, вот тогда и взвесим тебя для вечной жизни; Витя пожил, чашу мучений своих испил, тут смерть и порешила взвесить его, а заодно и соседей-евреев: восьмого мая 1942-го года толпы людей вывели из гетто на площадь и потащили сквозь лес к старому советскому полигону, — три километра люди шли, и Витя с ними, а слабых и отстающих кололи штыками, слабые и отстающие остались в лесу, неприбранные и непрощенные теми, перед кем они были виноваты... что им? лежат и, как говорится, в ус не дуют, — мертвым не страшно! а остальным было страшно, очень и очень страшно, ибо все понимали, куда ведут, один Витя не понимал и все спрашивал бредущего рядом пана Шломо, дряхлого лидского антиквара: куда ведут, дяденька? но тот молчал и только всхлипывал временами, — так шли и пришли к воронке за лесом, — полицаи стали хватать детей, немцы стояли и кашляли в кулачки, их было мало, а полицаев много — литовцы, поляки и белорусы... откуда они взялись? свои же

были! — детей хватали и сталкивали в воронку, а вслед им летели гранаты... матери бились в истерике, их держали, не давая пути к воронке, и они выли, словно волчицы, давясь газом гранат; полицаи велели раздеться, люди разделись и их поставили на край бездны, — Витя стоял впереди толпы... плоть двигалась, колыхалась, сверкала под солнцем, и эта страшная нагота, бледная немощь бесформенных тел медленно приближалась к аду, — люди зябли, женщины закрывали груди, пряча их от холода и стыда, а позади стонали дети во рву, в страшной воронке, пожирающей все, всех, весь мир, который оставался убийцам, и убийцы были готовы: подходил офицер, клал убийце руку на сердце, и если сердце не билось, благословлял, а у троих полицаев — билось, они получили в зубы и вышли из рядов вон... люди теснились, толпясь у края воронки, и глухой гул дрожал над их головами, — кто-то взвизгивал, как щенок, кто-то плакал, кто-то молился, и тут Витя — понял... понял, что его сотрут, вычеркнут, удалят, — из этого леса, из этого неба, из этой травы, и — завыл в тон, словно подпевая матерям убитых детей; убийц раздражал этот гул, вой и шепот молитв, — они подняли автоматы и принялись стрелять, — люди валились в воронку, и Витя стал на краю жизни, а против него стал Рымарь, Витя смотрел и Рымарь смотрел, а потом Рымарь нажал на курок, и пуля пронзила Витю, он покатился вниз, но смерть ринулась в гущу тел, держа на весу весы, и Витя еще успел помахать ей рукой; придет время — Витя будет взвешен, обмерен, разъят, но позже, не в сей миг подсчета, а позже, позже: он пал под стену воронки, с краю, и был незначительно присыпан землей; долго слышал он под своей землей стоны и вздохи, а потом потерял сознание и очнулся лишь ночью — в полной тишине и адовом холоде, — грунт давил на него, не давая дышать, сердце билось, и он забился — в животном ужасе, как червь, вывернутый лопатой... идя по ночному лесу, он мерз и страдал от боли в плече, пробитом горячей пулей, он брел без дороги, без цели, спасаясь как зверь, миновавший флажки, и в мутном рассветном тумане явился у дальнего хутора, вспугнув чету стариков-белорусов, решивших спросонья, что их посетил сын, убитый немцами с полгода назад, — Витя пришел голый, в крови и земле, неся свои обезьяньи руки, как последние сокровища мира, он тянул руки, и руки жили самостоятельной жизнью, только боль в плече мешала ему... дайте хлеба, хрипел он, только кусочек хлеба... есть у вас хлеб? — старики плакали, занося его в дом, дали хлеба и молока в кринке, — молоко он пил, упуская струйки на грудь, — они бежали и делали дорожки на его грязном теле; допив молоко, Витя забился в угол и стал, судорожно оглядываясь на стариков, грызть свой сиротский хлеб... старики прятали его до снега, лечили, кормили и в конце ноября хотели отправить к Бельскому, в партизаны, но, подумав, решили — дурак, обуза, какой из него партизан? осенью пришли немцы, с подозрением глядели на Витю, но шрама от пули не могли видеть, шрам надежно дремал под миткалем рубашки, — пришли, осмотрелись, нюхнули воздух, став на цыпочки, словно крысы, ткнули Витю стволом автомата в живот и ограбили стариков: взяли яйца, курицу и свели со двора козу, — все, Витя! кончилось теперь тебе молочко! так жили без козы, без курицы, а Бельскому все равно пособляли... время шло, пережили войну: в сорок четвертом вернулись советские, люди посчитали друг друга и замкнулись от ужаса, — Лида недосчиталась половины своих, Хрустальная была выбита напрочь, Селец выбит, Берёзовка выбита, Белицы выбиты, и весь район был в руинах, но Витя не знал гибели мира и пошел в Лиду, надеясь найти Гражину, единственную живую душу, которая когда-то любила его; он пришел, а ее не было, и людей не было; явится кой-где мужичок сам-друг да робкая баба, пробегут дети стайкой, худые, в рванье... ни лая собак не слышно, ни криков петухов, так ему потом сказал некто, признавший его, что Гражина работала год назад в канцелярии гебитскомиссара, и ее спустя пару дней после возвращения советских солдат забили насмерть оставшиеся в живых лидчане: выволокли из дома, обстригли клочками и порвали на ней одежду; сука, говорили они и плевали в нее, б... немецкая! — Гражину затоптали ногами, и труп ее два дня валялся на улице; Витя плакал и не хотел понимать, а потом спросил того, кто рассказал о Гражине: хлеб есть у тебя? может, сухарь какой? — целых домов в Лиде оставалось немного, и все они были

заняты, — Витя жил в руинах, целыми днями блуждал по городу, а потом набрел как-то на сарай в районе Кировской, возле сохранившегося дома раввина, так и поселился в сарае, — рядом, через дорогу случилась чугунная колонка, старая, прошлого века и — действующая, из нее Витя брал воду; летом Вите было истинно царское житье — днем побирался, ночью спал в сарае, как-никак своя крыша над головой, вода опять же, и весь город у тебя в кармане, — вот бродил Витя и попал раз в район улицы Труханова, бывшей Железнодорожной, — там была в конце сороковых парикмахерская, где стригли работяг, и там же был зальчик для дам, куда наведывались уцелевшие в оккупации лидские девчонки, — попав туда, Витя понял, что в город вернулась красота: он так любил женщин, их нежную поступь, томные глаза и пахучие головки, которые преображались в руках ловких парикмахерш, — дамы пахли как весенний луг, и в этом луговом аромате играла едва различимая кислинка, то был запах чистой женской сути, и у Вити кружилась голова, когда он вставал в дверях зала и вдыхал аромат их волос... в мужском зале было четыре кресла, и за одним креслом работал Живоглот, вертухай, вернувшийся с Колымы в пятьдесят четвертом; Витя не любил заходить в мужской, — там, несмотря на *Шипр*, стоял крепкий дух шпал и вокзального зала ожидания, а вот женский! женский зал наш Витя любил, и являясь туда всякий день, стоял у дверей и смотрел, — восхищаясь, вдыхал *Красную Москву, Ландыш,* прочие ароматы и отдыхал душой... парикмахерши его не трогали, стоит и стоит, никому не мешает, — кто станет обижать убогого? у него же эта парикмахерская — единственная радость в жизни! но одна из мастериц осенью забеременела и ушла, и вместо нее взяли Живоглота, имевшего большой художественный опыт, — так Живоглот Витю не терпел, гонял его, а ведь все Витю знали — это ж был местный дурачок, лидская достопримечательность, — и клиенты, и мастера, все заступались за него, а Живоглот бурчал: явился, мол! опять хлеб станет вымогать! Витю же кормили — кто хлеба даст, кто яблоко, а то сцепщики отведут его в вокзальный буфет, и был даже машинист тепловоза, Иван Ильич Сухарный, который Витю к себе домой забирал: ну-ка, жинка, говорил Сухарный, накорми нашего парня борщом, ведь он на Лидском полигоне во время войны землю жрал... так Витя жил не тужил, а Живоглот все бурчал, — влом было ему видеть Витю, он Витю ненавидел, но вытолкать взашей он Витю не мог, — про него и так ходили слухи: вертухай, дескать! на зоне, мол, людей убивал! вот Живоглот однова и подстерег Витю у вокзала, когда тот шел как раз в дамский зал поглазеть на дам, — ткнул ему в живот кулаком и говорит: придешь еще раз — убью! а Витя отвечает: хлеб есть у тебя? дай хлеба-то хоть корку! — Живоглот плюнул и ушел, а Витя как ходил в парикмахерскую, так и продолжал ходить, — Живоглот терпел, ярился, бычил, а потом пошел в депо и подговорил трех деповских поучить Витю, отвадить его от парикмахерской, и деповские вняли, поймали спустя пару дней Витю на путях и поучили... Витя увидел их, идущих меж вагонов, обрадовался и сказал: дайте хлеба, сказал Витя, принесли хлеба? два дня не ел... хлеба! — но первый, быстро приблизившись, ударил Витю кулаком и злобно ответил: вот тебе хлеб, сука! — Витя пошатнулся, и тут подошли второй с третьим, накинулись на него и двумя ударами сбили с ног; Витя упал, закрыв голову локтями, и мужики начали его топтать, — сапоги мелькали, и тупые носки их с силой крушили ребра Вити, ноги, руки, голову... песок скрипел на зубах Вити, и сквозь запах крови, креозота и кремня он явственно ощущал запах дегтя, сапожный запах, и дух потных мужиков, насквозь пропитанных станционной вонью... тут смерть пришла и улыбнулась ему: теперь истинно ты, Витя, пожил, чашу мучений своих испил до дна, как раз время взвесить тебя, обмерить да и разъять! — он кричал, его били... насильники устали, но все били и били в тесном тупике между поездами, а потом взяли полумертвого Витю за шиворот, подняли и швырнули на ступеньки вагона!.. так погиб зазря наш дурачок, совесть Лиды, вина Лиды и укор убийцам, которые бубнили потом после стакана самогона: да чего он подох? мы ж его только поучить хотели...